
А.П. ЧЕХОВ И МИШЕЛЬ ФУКО: РОССИЙСКАЯ КАТОРГА ИЛИ ЗАПАДНАЯ ТЮРЬМА?

В.А. Шкуратов
Южный федеральный университет

Аннотация: В статье на примере двух произведений «Остров Сахалин» и «Надзор и наказание» сопоставляются концепции дисциплинарных институтов и практик А.П. Чехова и М. Фуко. Автор эксплицирует содержательные, идейные и стилистические точки пересечения в названных концепциях, анализирует совпадения и различия в индивидуальных биографиях рассматриваемых авторов, выявляет специфику пенитенциарных практик в истории России и Европы. В результате проведённого анализа ставится под сомнение вывод М. Фуко об универсальности формулы жизни-тюрьмы в становлении новоевропейского человека.

Ключевые слова: А.П. Чехов, М. Фуко, дисциплинарное общество, пенитенциарная система, жизнь-тюрьма, власть-знание.

В этой статье я буду сопоставлять преимущественно два произведения: «Остров Сахалин» А.П. Чехова и «Надзор и наказание» М. Фуко. Мне придётся сослаться также на сочинения, тематически примыкающие к указанным трудам. У обоих авторов несвобода есть отправной пункт маршрутов поиска свободы, поэтому отдельный интерес представляют те высказывания Чехова и Фуко, которые обладают признаками эпилога двух пенитологических эпопей¹.

Между Чеховым и Фуко обнаруживаются содержательные, идейные, стилистические переключки. «Нужно всегда думать о школах, больницах и тюрьмах. Это единственный способ победить природу», — читаем в записной книжке русского писателя [Чехов 1974-1983, XVII: 27]. Перед нами выборочное перечисление дисциплинарных институтов, исследованных французским учёным-мыслителем в работах по становлению цивилизации Нового времени. Чехов строил школы, работал в больницах, а заточению он посвятил самое пространное своё произведение — «Остров Сахалин». Аналогия между чеховским описанием

¹Стоит напомнить, что у обеих книг нет завершения. В «Наказании и надзоре» читатель извещается: «Здесь я прерываю книгу, которая должна служить историческим фоном для различных исследований о власти нормализации и формировании знания в современном обществе» [Фуко 1999: 455]. «Остров Сахалин» читателя ни о чём не извещает, и просто расстается с ним фразой о том, что по статье 297 «Устава о ссыльных» на кормление грудью младенцев каторжанкам полагается облегчение в работах на полуторагодовой срок.

каторги и бестселлером французского историка культуры и власти очевидна. Её не может ослабить и то, что Чехов — писатель. Писатель — да, но в «Острове Сахалин» — весьма своеобразный.

Дореволюционная критика так и не установила, принадлежит ли «Остров Сахалин» литературе или науке. Но эти выяснения и не были принципиальными, так как художественная литература ещё повсеместно пересекается с психологией, социологией, этнографией, географией и другими науками. В советском литературоведении «Остров Сахалин» шёл под рубрикой публицистики. Периферийная в художественном процессе, публицистика — как бы общественная нагрузка литературы; посредством публицистики литература выполняет свой гражданский долг. «Остров Сахалин», особенно по чеховским меркам, чрезвычайно трудозатратен и велик. Это свидетельствует о гражданской позиции писателя и снимает с него подозрения в безыдейности. Клише произведения-долга возводило Чехова в ранг писателя-гражданина, но оно же и умаляло его роль как своеобразного социального мыслителя и учёного. Между тем, оно ему принадлежало по праву. Чехов обсуждает российский пенитенциарный проект в сопоставлении с западным и, шире, границы легального насилия над человеком. А «история современной души перед судом» [Foucault 1975: 27] — это уже в неоспоримой компетенции М. Фуко.

Помимо даже воли наших авторов, созданные ими картины заточения приобрели характер символов, и в сопоставлении они выводят к привычной дихотомии России — Запада, взятой в ракурсе надзора и наказания. Иначе говоря, преимущественно тюремного склада западной жизни и преимущественно каторжного — российской. Мысль о том, что тюрьма это квинтэссенция и лаборатория воспитания европейской личности Нового времени, ключевая в «Надзоре и наказании». «Не жизнь, а каторга» — одна из самых устойчивых жалоб в русской речи. В сочинении о каторжном острове Чехов как будто не предлагает расширительного использования национальной метафоры. Предлагает русская литература, поместившая его произведение в каторжной антологии отечественной классики между «Записками из Мертвого дома» Достоевского и «Архипелагом ГУЛАГ» Солженицына. И предлагает М. Фуко, сделавший идиому жизни-тюрьмы главным концептом своих построений о происхождении новейшего европейского человека.

Если читатель «Надзора и наказания» примет риторику книги за универсальные формулы надзора и наказания, то «Остров Сахалин» покажет такие отклонения от них, которые ставят под сомнение их универсализм. Избегая окончательных выводов по вынесенной в заголовке дилемме — а таковых анализируемый материал и не предполагает — я буду сравнивать наших авторов на фоне некоторых дополнительных сведений по рассматриваемой теме.

Сколько проектов?

В «Наказании и надзоре» пенитенциарный генезис современности сводится к выбору из двух проектов: французского просветительского, сформулированного Законодательным собранием страны в 1791–92 гг., и англосаксонского, в духе протестантской морали. Первый трактовал наказание в качестве своего рода публичной педагогики, не отказываясь от зрелищности и театрализованности экзекуции, отрицал долгосрочное лишение свободы как покушение на права гражданина. Второй предлагал содержать преступников в тюрьмах под строгим надзором и с мелочной регламентацией всех их движений. Победил англо-американский путь преобразования средневекового пыточного права. В первые десятилетия XIX в. тюрьма повсеместно становится главным и по существу единственным наказанием за все преступления, не предусматривавшие смертной казни. Такова фактология, но универсальна ли она? «Остров Сахалин» рисует надзорно-исправительный порядок, который то ли пародия на западное «правильное заключения», то ли ранняя, примитивная стадия последнего. Однако он возник не на пустом месте. Пенитенциарная система империи имеет двухвековую исто-

рию и принадлежит современности. Прежде чем излагать наблюдения Чехова за каторжными нравами, дам краткую историческую справку о системе государственного наказания в России Нового времени.

С эпохи Великих географических открытий западноевропейские страны широко использовали каторгу и ссылку для освоения заморских территорий, но ко второй половине XIX в. эта практика уже в прошлом. В России подневольная колонизация начинается позже, апогей каторжно-ссылочного заселения Сибири придётся на десятилетия после реформы местного управления М.М. Сперанского (1822). Россия как бы воспроизводит европейский опыт, однако её пенитенциарное развитие выказывает большую специфику. Для колониальных держав Запада ссыльно-каторжные поселения за морями не заменяли систему заключения в метрополии. Тюремно-пенитенциарный режим дома и отдалённые режимные территории формировались параллельно, имея собственные функции. Принудительная высылка за моря снабжала колониальные форпосты белым населением, а тюрьма обустроивала собственно дисциплинарный режим. В России же два способа наказания образовывали альтернативы, и выбор ко времени сахалинской поездки Чехова де-факто не был сделан. Сахалин стал экспериментом в поддержку первой, каторжно-ссылочной альтернативы. Сахалинская каторга была открыта (1869), когда была закрыта крупнейшая поселенческая каторга Запада — австралийская (1868)².

Правительственные комитеты по преобразованию острогов в тюрьмы европейского образца возникают после крестьянской реформы 1861 г. Однако результаты их деятельности крайне скромны, если не провальны. К началу XX в. удаётся создать несколько крупных каторжно-пересыльных тюрем («централов») в Европейской России. Преобладающими местами заключения в стране остаются старые остроги — ветхие, ужасающе антисанитарные и переполненные. В них вместе содержатся арестанты разных категорий, в том числе ожидающие этапирования «в места отдалённые» и «не столь отдалённые». Ссылка, поселение, каторжные работы в Сибири по-прежнему преобладают над другими видами наказания. В дискуссиях конца XIX в. оппоненты правительственных проектов Уголовного уложения отмечают пороки сформировавшейся к тому времени тюремной системы Запада: «Рабское подражание западноевропейским образцам в области разрешения тюремного вопроса так же неудобно, как и в других областях. Пересаживая на нашу почву систему келейного заключения, не следует забывать, к каким горьким плодам привела эта система там, где она достигла своего рода идеального совершенства» [Соколовский 1896: 129].

Но противники распределения заключённых по «кельям» могут не слишком волноваться: «...осуществление системы одиночного заключения потребует со стороны государства громадных затрат, а это обстоятельство делает вполне правдоподобным предположение, что само осуществление её может воспоследовать „в более или менее отдалённом будущем“» [там же: 131].

Однако объясним ли застой в преобразованиях российской пенитенциарности по западноевропейскому образцу только неспешностью правительственных комитетов по тюремной реформе и скудостью её финансирования? Вот как обозначены альтернативы российской дисциплинарности в современном исследовании: «доступность земли побуждала более использовать для осуждённых пространство, чем тюрьмы. В результате, система ссылки служила непосредственным потребностям государства, но в более долгой перспективе мешала политическому и правовому развитию.... Без тюремной системы государство избегало стрессов, которые в Западной Европе побуждали к реформе. Это, в свою очередь, сыграло существенную роль в изоляции России от идей Просвещения... Явно кабинетные попытки рефор-

²Открытие французской каторги в Кайенне (1852) и на Новой Каледонии (1864) не было альтернативой уже вполне состоявшейся пенитенциарной системе метрополии, оно не представляло также значительного переселенческого проекта. Власть таким образом отправляла подальше политических противников режима, а позже — разгружала французские тюрьмы от неисправимых рецидивистов.

мировать сибирскую администрацию и систему ссылки в конце восемнадцатого и начале девятнадцатого веков не смогли изменить их функционирования. Даже после реформы они функционировали точно так же, как в семнадцатом столетии. Другими словами, пока другие страны принимали просвещенческую реформу наказания, Россия имела в этом мало надобности и ещё меньше успеха» [Romaniello 2009: 148].

О противоречивом влиянии российского раздолья на модернизацию и вестернизацию страны написано очень много. Геоприродная специфика государства не обязательно должна отменять историческую стадийность дисциплинарного процесса в его новоевропейском варианте. По Фуко, тюрьма как устойчивый пенитенциарный институт и лаборатория европейских дисциплинарных практик появляется в Новое время. Порядок лишения свободы до конца XVIII — нач. XIX вв. именуется у Фуко «великим заточением» и описан в книге «История безумия в классическую эпоху» [Фуко 1997].

Во Франции он принадлежит «старому режиму», т. е. дореволюционному (до 1789 г.) абсолютизму XVII–XVIII вв. По мнению французского учёного, до появления современных дисциплинарных институтов власть слабо дифференцировала тех нарушителей общественного порядка, которые не подлежали смертной казни или высылке из страны. Она предпочитала содержать их взаперти, «скопом», в местах, очень мало похожих на современные специальные учреждения. На первый взгляд, Россия великого заточения по Фуко не знала. Российский «старорежимный» суд предпочитает тесному узилищу в европейской метрополии пустынные студёные просторы на Востоке, и этом его евразийская специфика. Однако между двумя системами наказания обнаруживается сходство. Оно — в отношении к человеку. «Неправильный» и отработанный человеческий материал выбрасывается из общества в некое пространство, именуемое заточением. Убогие, буйные, больные, безумные, бездомные, брошенные дети, одинокие старики, богохульники, распутники, мелкие уголовники при французском старом режиме содержатся взаперти в заведениях, именуемых госпиталями. В чём сходство между ними и Сибирью?

О человеке не заботятся, его изолируют. В дореволюционной литературе Сибирь именуется тюрьмой под открытым небом. Разумеется, не в том значении, которое имеет тюрьма теперь. По функциям дореформенная Сибирь напоминает упомянутые французские отстойники маргинальности. Только стены и запоры заменяются непроходимым пространством. В этом отношении сибирская ссылка — вполне «великое заточение» по Фуко с поправкой на географию. В Сибирь по этапу идут «лихие люди», политические и религиозные диссиденты, но также больные, старые, «умалишённые», «непутёвые», ссылаемые помещиками за ненадобность в хозяйстве. С конца XVIII в. правительство постепенно сокращает этот список, и ко времени чеховской поездки он сведён к собственно осуждённым в судебном или административном порядке. После 1861 г. в Сибирь уже не ссылают старых, больных, калек, слепых, слабоумных. Но в этом, пожалуй, и весь прогресс. Переход к современной реабилитационно-исправительной форме наказания буксует. Надо ли усматривать в этом пресловутые трудности российской модернизации или не менее пресловутую специфику исторического пути России? Оставляя без ответа один из наших «вечных» вопросов, я обращаюсь к свидетельствам Чехова.

Назад или вперёд?

«Остров Сахалин» — о важной исторической развилке в эволюции государственного наказания и о выборе новой формы легального насилия над человеком. «„Мертвого дома“ уже нет» — констатирует Чехов на Сахалине [Чехов 1974-1983, XIV/XV: 320]. Вывод писателя обоснован просветительски: «На Сахалине среди интеллигенции, управляющей и работающей в канцеляриях, мне приходилось встречать разумных, добрых и благородных людей,

присутствие которых служит достаточной гарантией, что возвращение прошлого уже невозможно» [там же].

Мы-то знаем, что присутствие разумных, добрых и благородных людей ещё не служит гарантией от возвращения прошлого. По Фуко, такую гарантию даёт сформированность новой политической технологии. Россия движется по западному пути с опозданием, да и движется ли она по нему? Догоняющее развитие чревато известным парадоксом: догоняющий находится в начальной точке маршрута и то же время он знает его конечный результат, от которого он не в восторге. Возникает желание элиминировать трудный отрезок и сразу перескочить к следующему этапу движения. Уточню, что в данном случае я не обсуждаю доктрину общественного развития, а пытаюсь понять политико-правовые воззрения Чехова в сахалинском случае. Писатель находится в удвоенном историческом времени. Как подданный российской империи он пребывает в прошлом европейской пенитенциарной истории, но, как образованный европеец, он живёт в её настоящем и пытается заглянуть в будущее. Отечественное же настоящее весьма неопределённо.

Чехов отмечает отсутствие системы перевоспитания правонарушителей в России. Наказания у нас мягче, чем на Западе. После середины XVIII в. казнь в подавляющем большинстве случаев заменяется экзекуцией, а в пореформенные времена — пожизненной каторгой и ссылкой. Уместно опять сопоставить отечественный материал с выкладками Фуко. Фуко ничего не пишет о русском уголовном праве, он вообще не сравнивает разные досовременные порядки наказания по жестокости. Зато детально прорисовывает театральноритуальное значение пытки. В заключающем допетровскую эпоху Соборном уложении (1649) об этом, действительно, на удивление мало.

Дисциплинарные практики в описании Уложения — домостроевские, патриархальные. «Паршивую овцу из стада вон» или, применительно к земледельческому уклону хозяйства, «сорную траву с поля долой». Уложение — поздний наследник варварских правд с определённым византийско-христианским влиянием (статьи о богохульстве, прелюбодеянии существуют отдельно от других). Эволюция варварско-правдинского начала Уложения состоит в ужесточении физического наказания. Поэтому русский судебник XVII в. в большинстве случаев предпочитает «казнити смертью»; за небольшую или недостаточно доказанную провинность — кнут. Остальные наказания, в сущности, — дополнение к этим, фундаментальным. Соборное уложение не проявляет особой заинтересованности ни в даровом труде осужденного, ни в символизме наказания, ни в перевоспитании и в контроле за аномией. Девианта просто калечат, запугивают или ликвидируют. Можно сказать, что в отечественной традиции Соборное уложение — предвестник принципа «есть человек — есть проблемы, нет человека — нет проблем», принципа варварского, простого. Дисциплина мыслится как контроль над телом, и контроль физический, с минимумом символических, психологических экономических и других включений. В западном наказании таких включений много больше, и оно трансформируются при переходе от пыточно-карательного права к исправительному.

Большое заточение по-западному создаётся в XVII в. «Классическая эпоха изобрела изоляцию, подобно тому как Средневековье изобрело отлучение прокажённых; место, опустевшее с их исчезновением, было занято новыми для европейского мира персонажами — „изолированными“» [Фуко 1997: 70].

Заканчивается же большое заточение на Западе на рубеже XVIII и XIX вв. за полной несостоятельностью классического порядка и появлением нового, тюремного. Большое заточение в России появляется примерно в то же время, что и на Западе, но со спецификой, делающей его весьма отличным от европейского изобретения. Большое заточение по-русски называется крепостным правом. При Борисе Годунове оно распространяется на крестьянство, а при Петре I уже все сословия «крепки» государству: одни платят подати, а другие служат. Страна как территория заточения, естественно, является иной реальностью, чем лишение свободы в четырёх стенах. Не следует увлекаться метафорами в ущерб анализу политико-

правовых устройств. Метафоры, однако, могут вывести на различие двух государственных курсов, двух дисциплинарных проектов, один из которых предпочитает «камерный надзор», а другой переносит его на всю территорию. Своим названием каторга, очевидно, обязана большому гребному флоту Венеции. Грести на галерах находилось мало желающих. Выручали осуждённые. В допетровской России не было ни флота, ни массовых тяжёлых государственных работ. Когда то и другое при Петре появилось, то для изнурительного труда использовались крестьяне, солдаты, пленные — масса, положение которой не особенно отличалось от рабского. Однако и таким ресурсом даровой рабочей силы, как осуждённые, великий преобразователь России не пренебрёг. Каторга в нашей стране появилась именно при нём.

Первоначально она находится внутри коренной европейской территории. Освоение Сибири её кардинально трансформировало. Будет логичным соотнести постепенное, сверху вниз, раскрепощение российских сословий после Петра, всплески социальных брожений в стране с усилением каторжно-ссыльного потока за Урал. При положительной связи между двумя динамиками можно говорить о «географизации» правительственной политики заточения, выносе его в Азию в ущерб тюремной нормализации европейской метрополии и страны в целом. «Великое освобождение», которое, по Фуко, имеет место в конце XVIII — начале XIX вв. на Западе, не просто распускает изолированное население бастилий и бедламов, а переливает его в дифференцированную дисциплинарную сеть, центром которой становится тюрьма. В концепции дисциплинарных практик «Надзора и наказания» она служит моделью эффективной корректировки и одновременно познания рабочего тела. Великое освобождение России — 1861 г., но такого (хотя и негативного) образца воспитания современного человека в ней нет. Более того, в появлении сахалинской каторги можно увидеть продолжение старой географизации наказания. Сначала место заточения эквитерриториально (страна-каторга), затем для него выделяется обширный регион Сибири, наконец, — окраинный остров. Администрация хотела бы разгрузить Сибирь от ссыльных и каторжных, но это не означает конца старорежимного заточения. Чехов видит опасность превращения Сахалина в большой рабочий дом с российской спецификой, в Сибирь уменьшенных размеров. Чеховское отвращение к пожизненному наказанию покоится на очень личном ощущении свободы, в социально-правовом плане — это опасение великого заточения. Дисциплинарная же система, полагающая ресоциализацию преступника, в России не выработана и тормозится отсутствием знания. За ним Чехов и едет на Сахалин. Он не берёт на себя миссию реформаторства, но намерен снабдить реформаторов знанием: «Я глубоко убеждён, что лет через 50–100 на пожизненность наших наказаний будут смотреть с тем же недоумением и чувством неловкости, с каким мы теперь смотрим на рвание ноздрей или лишение пальца на левой руке. И я глубоко убеждён также, что как бы искренно и ясно мы ни сознавали устарелость и предрассудочность таких отживающих явлений, как пожизненность наказаний, мы совершенно не в силах помочь беде. Чтобы заменить эту пожизненность чем-нибудь более рациональным и более отвечающим справедливости, в настоящее время у нас недостаёт ни знаний, ни опыта, а стало быть и мужества; все попытки в этом направлении, нерешительные и односторонние, могли бы только повести нас только к серьёзным ошибкам и крайностям — такова участь всех начинаний, не основанных на знании и опыте» [Чехов 1974-1983, XIV/XV: 25–26].

Чехов предполагал создать это знание сам, эмпирически, но понимал, что сможет провести исследования и претворить результаты в жизнь только с помощью государства. Отношения власти и знания в сахалинской экспедиции Чехова очень далеки от того, как их интерпретировало советское чеховедение. На Сахалине Чехов налаживает что-то вроде альянса с режимом. Его позиция временами доходит до почти административной распорядительности, а времена до усилий втолковать надзирателям цели надзора. К. Попкин (см. Popkin, 1992) считает, что на Сахалине Чехов пережил эпистемологический кризис, познал различие между научным и художественным методами. Похоже, что не только эпистемологический. Чехов также познал различие между знанием и властью.

В июле 1893 г. Чехов изложит Суворину концепцию работы, сильно отличающую от первоначальной программы: «То, что Вы когда-то читали у меня, забудьте, ибо то фальшиво. Я долго писал и долго чувствовал, что иду не по той дороге, пока наконец не уловил фальши. Фальшь была именно в том, что я кого-то хочу своим «Сахалином» научить и вместе с тем что-то скрываю и сдерживаю себя. Но как только я стал изображать, каким чудачком я чувствовал себя на Сахалине и какие там свиньи, то мне стало легко и работа моя закипела, хотя и вышла немного юмористической» [Чехов 1974-1983, V: 217].

Чехов возвращается от исследовательской программы 1890 г. («моя диссертация») в более привычную для него беллетристику. Замечание Чехова проливает свет на колебания его идентификации. Сам «Остров Сахалин» останется ценным вкладом в историю надзора и наказания.

Каторга на Сахалине будет закрыта в 1906 г., вскоре после того, как южная часть острова отойдёт Японии. Царская каторга возродится в СССР в грандиозных формах архипелага ГУЛАГ. Её быстрое воскрешение позволяет ещё раз усомниться в универсализме тюремной метафоры Фуко. Тюрьма как принудительная ресоциализация человека в качестве одиночного индивида служит матрицей правильной интенсивной эксплуатации его тела и саморегуляции в качестве индивидуального, самореализующегося элемента системы. Каторга же — формовка человека как частицы стадно-коллективного тела. В советских исправительно-трудовых лагерях такая формовка осуществлялась под лозунгами официального идеологического коллективизма. Однако ресоциализация заключённого велась преимущественно параллельной системой лагерно-уголовного мира. Лагерная модель социума не является атрибутом только России. Дж. Агамбен, хотя и причисляет себя к фукеанцам, показывает отличную от тюремной матрицу общества на примере нацистской Германии [Агамбен 2011]. Однако хотя влияние лагерной организации на социально-правовое устройство тоталитарных режимов Центральной и Южной Европы несомненно, именно в СССР лагерная субкультура смогла проникнуть во все поры общества и надолго стать в центр дисциплинарной сети, как тюрьма на Западе. У Чехова, внешнего наблюдателя сахалинского заточения, мы не найдем подробного описания параллельной структуры каторги. Она запечатлена Достоевским в «Записках из Мёртвого дома», а ещё лучше сведения о ней поискать у А.И. Солженицына и В.Т. Шаламова.

В поисках пространства свободы

В заключение я попробую выполнить обещание, данное в начале статьи и коснуться эпилогов двух пенитенциарных эпопей, которые находятся за пределами эпопей. По Фуко, тюрьма есть главная лаборатория всех других разновидностей власти-знания: производственных, армейских, школьных, психиатрических, научно-психологических и т. д. Заточение принудительно социализует стихийное, асоциальное начало человека, которым индивид не смог самостоятельно овладеть. Другие дисциплинарные практики также подменяет самоопределение личности знаниево-кратическими схемами только мягче, вкрадчивее. Русская власть не может обеспечить цивилизованный минимум социального надзора за человеком, западная слишком въедается в жизнь и внутренний мир личности, парализуя её саморазвитие — такой вывод можно предугадать из предварительного сопоставительного анализа главных пенитенциарных трудов Чехова и Фуко. Оба автора не довольствовались критикой наличного порядка. Они неустанно искали ресурсы персонализации, которые человек мог бы назвать своими. Чеховская доктрина воспитания и самовоспитания начинается со знаменитых строк о выдавливании раба по капле. Фуко обращается к техникам себя (*techniques de soi*). Они относятся к сфере культуры и типологически отличаются от «микрофизики власти». В одном случае индивид называет своей личностью и своим «Я» интериоризованные дисциплинарные практики. То, что именуется техниками себя, не относится к инструментам биовласти и

не служит эффективности хозяйственно-управленческой машины. Это, скорее, эстетические и вполне самодостаточные феномены, «рефлексивные и волевые практики, посредством которых люди не только фиксируют себя правилами поведения, но ищут, как трансформировать самих себя, как модифицироваться в их единичном существовании и как сделать из их жизни произведение, которое имеет некоторую эстетическую ценность и отвечает некоторым критериям стиля» [Foucault 1984: 17]. Из таких техник создаётся культура себя. Фуко-историк и теоретик обнаружил более развитую, чем на буржуазном Западе, культуру себя в Древнем Риме первых веков нашей эры. Здесь «развитие культуры себя сказалось не в умножении факторов, препятствующих умножению желаний... Критерием успеха такой работы, как и прежде, выступает умение индивидуума властвовать над собой, но эта власть отныне распространяется на опыт, в соответствии с которым отношение к себе принимает форму не просто владения, но радости, не ведающей надежд и тревог» [Фуко 1998: 76–77].

Существенно то, что устроение морали в начале нашей эры не носит законодательного характера и не распространяется на всё общество. Оно остается достоянием элиты, что, видимо, должно свидетельствовать о продуманно личном характере движения. «Философы не предлагали проект всеобщего принудительного законодательства, не пытались ввести какие-либо унифицированные меры или наказания, которые позволили бы привести к строгости всех людей разом, но, скорее, призывали к ней индивидуумов, готовых вести жизнь, отличную от той, что ведут „многие“» [там же: 48]. Античность показывает пример элитарного самоопределения там, где Новое время, объединив знание и власть, ставит на поток производство субъективности. Частное существование оказалось в буржуазном обществе социально признанным и юридически защищённым, но внутренне непроработанным и в этом отношении табуизированным. Античность же не стесняется говорить о сексуальных делах, однако медлит с установлением для них всеобщих правил. Бдительности к движениям желания — да, осуждению грехов, как в Средние века, или распространению стереотипизированных научных знаний о человеке, как в Новое время, — нет.

Фуко показывает амбивалентность прогресса. Всеобщее образование, доступная медицина, гигиенизация населения, гражданское равноправие есть атрибуты демократии и общества благосостояния, но в то же время — тотального дисциплинирования западного человека. Внутренний референт указанных дискурсивных практик, человеческое «Я», оказывается унифицированным и психологически ненаполненным. В обществах Нового времени есть забота о поддержании неприкосновенности частного мира, но нет заботы о себе в античном понимании. По Фуко, подлинное «Я» человека находится вне зоны действия массовых дискурсивных практик, которые внедряют в наше эго надзирающее за ним супер-эго. Это «Я» есть пространство собирания себя как наднормативной целостности. В «Заботе о себе» нет отдельных разъяснений относительно дискурсивной материи, из которой произрастает моральный римский гедонизм Империи, но, видимо, он неотъемлем от новых литературных форм этого периода. Ведь творцами культуры себя были не только философы и врачи, но также поэты, литераторы, нашедшие более изысканные, чем прежде, способы передачи человеческих переживаний. Без художественного слова сформировать «Я» как эстетическую вещь невозможно.

И здесь между Чеховым и Фуко намечается следующая точка соприкосновения. Не только как авторами, исповедовавшими чрезвычайно гибкий способ выражения, ускользавший от идеологической однозначности, но и как практиками своей жизни. Фуко отстраивается от линейного программирующего порядка биографий. Включение малой истории человека в большую историю есть работа дисциплинарного дискурса Нового времени. Фуко хочет создать индивидуальную историографию, т. е. историю, выводимую из гедонистически-аскетического самосотворения человека.

Что касается личной жизни Фуко, то она была полуподпольной, поскольку в ней мыслитель практически отстраивался от принятого порядка получения наслаждений, который он

препарировал и критиковал теоретически. Какие сопоставления напрашиваются в этой плоскости между французским культурологом, умершим от СПИДа, и русским писателем, умершим от туберкулеза? Чехову тоже было, что скрывать. Отсюда его отвращение к самораскрытию. «Мы всё ещё можем сказать, вторя замечанию, сделанному в 1929 г. одним из самых значительных ранних исследователей Чехова, что из всех крупных русских писателей XIX в., мы знаем Чехова менее всего. Множество биографических материалов было издано после смерти Чехова в 1904 г. его сверстниками, коллегами и друзьями, так же как исследователями и архивистами; недавно и большая часть того, что скрывалось до эры гласности, увидело свет. Тем не менее, чеховская личность остаётся для нас, как для многих его современников, совершенно закрытой», — пишет американский исследователь творчества Чехова [Finke 2005: 1].

Чеховская «забота о себе» проявляется в постоянном сбивании настройки правильной, линеизирующей последовательности жизни. Он не желает вписываться в её дисциплинарные дискурсы. В больнично-медицинский — до последнего возможного момента скрываясь от осмотра и лечения, в профессиональный — до самого конца жизни прикидывая возможность смены занятий³, в социально-организационный — смешивая деловые и дружеские отношения. Но эти аномалии сравнительно с правильным порядком Нового времени и являются свободной траекторией жизни, устанавливаемой самим и для себя вопреки принятому в Новое время порядку.

Агамбен Дж. 2011. *Ното sacer. Суверенная власть и голая жизнь*. М.: Европа.

Соколовский Н.А. 1896. Уголовное уложение (по поводу проекта Редакционной комиссии). — *Русское богатство*. №5.

Фуко М. 1997. *История безумия в классическую эпоху*. СПб.: Университетская книга.

Фуко М. 1998. *История сексуальности-III: Забота о себе*. Киев-Москва: Дух и литера, Грунт, Рефл-Бук.

Фуко М. 1999. *Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы*. М.: Ad Marginem.

Чехов А.П. 1974—1983. *Полное собрание сочинений и писем в 30 томах*. М.: Наука.

Finke M. 2005. *Seeing Chekhov: Life And Art*. Cornell University Press.

Foucault M. 1975. *Surveiller et punir. Naissance de la prison*. Paris: Gallimard.

Foucault M. 1984. *L'usage des plaisirs*. P.

Popkin C. 1992. Chekhov as Ethnographer: Epistemological Crisis on Sakhalin Island. — *Slavic Review*. V. 51, № 1.

Romaniello M. 2009. Review: Gentes, Andrew A. Exile to Siberia, 1590–1822. New York: Palgrave Macmillan. — *Slavic Review*. № 5.

³Даже в 1904 г., на краю могилы, Чехов ведёт разговоры о том, как он сменит писательский труд на медицину и поедет врачом на русско-японскую войну.